

# Акрам Айлисли: Сожгите мои книги — они никого не спасли...

— Несколько лет вы не появлялись на страницах «Литературы», поэтому читателям наверняка интересно узнать: как вы жили эти годы? Что изменилось в вашей судьбе, в вашем мироощущении?

— В главной — внутренней — жизни ничего не изменилось. Никогда не был «баловнем судьбы», даже в те годы, когда много печатался, завоевал некоторую известность. Душевного уюта не было. Всю сознательную жизнь сопровождало чувство стыда: во времена доперестроечные мучило, что кто-то сидит в тюрьме за свои убеждения, кого-то несправедливо подвергают публичной обструкции и т. п. Я ощущал себя эмигрантом и если бы был уверен, что где-нибудь смогу выжить без азербайджанского языка, без своего Айлиса, то давно бы уехал... А сейчас чувство стыда стало непереносимо острее. Постоянно думаю о том, что погибают ни в чем не повинные люди, младенцы, матери, седовласые старухи... Раньше была надежда, быть может, наивная: вот, думаю я, Сахарова освободят из ссылки, он вернется в Москву, и чуть ли не вся жизнь изменится. Даже во время войны в людских душах не было такого мрака. Помню, в деревне — встанем утром, есть нечего, а надежда не умирает. Не знаю, замечаете вы или нет, но сейчас у всех глаза изменились. Появилась во взглядах какая-то фатальная обреченность... Поражает, какими мы оказались жестокими. Взять хотя бы позицию новой. «Свободной» прессы: не щадят никого и ничего, ринутся на поиски «жареных» фактов, «сенсаций», зачастую замешенных на крови.

— Да, в обществе все сильнее чувство всеобщей подавленности. Вот и писатели растерялись — прежде с увлечением разрушали государство по имени СССР, вслеськи приветствовали и поддерживали тех, кто «отделялся», «самоопределялся», страстно уверяли и себя, и всех нас, что только в условиях абсолютной свободы и раскрепощенности наступит эра подлинного культурного возрождения. Теперь они или молчат, или злощеще пророчествуют о гибели культуры. А как по-вашему: что происходит сегодня с культурой, с литературой?

— Вот тут я не стал бы излишне драматизировать. Сохранять и далее писателей как массу, как «армию литературных работников» недопустимо. Раньше система была заинтересована в том, чтобы у нее было, скажем, 500 «прирученных» академиков, 400 писателей и т. п. Культура «по разнарядке» — что может быть абсурднее?! Кстати, если наш республиканский Союз писателей будет и дальше стараться спасти литераторов как массу, он окончательно пропадет. Надо думать о том, как спасти Литературу. Я всего несколько месяцев работаю в издательстве, но успел сделать кое-какие выводы. Настоящие писатели со своими жалобами и обидами ко мне не приходят. Приходят, как правило, те, кого приучили пробиваться локтями, протекцией, у кого жизнь прошла около «совписовской» кормушки. К творчеству все это никакого отношения не имеет.

— Хотите сказать, что грядущий рынок воздаст каждому по мере таланта?

— В первую очередь, мне кажется, надо постараться спасти тех, кто действительно работал на литературу, на культуру. В бытность мою главным редактором журнала «Азербайджан» мне звонили из ЦК — мол, сам Гейдар Алиев интересуется, почему на ваш журнал поступает столько жалоб. Я тогда написал «наверху» записку: у нас 400 членов СП, из них, предположим, 40 или 50 человек — действительно писатели, а это всего 10—15 процентов. Так вот, если я честный редактор, то должен всегда бороться против массы, против 80 или 90 процентов. Иного выхода нет. Спрашиваю: откуда ты знаешь, талантлив Н. или нет? Может, его дарование поздние «прорезается»? Выдумки все это: не составляет особого труда разобраться, кто действительно работает на культуру, а кто существует за счет нее.

— А вам самому сейчас пишется?

— Мою сочинительству, кроме того, что я угнетен трагедией происходящего вокруг, по большому счету ничего помешать не может. Писать я не перестану. Рухнули идеологиче-

ские барьеры, исчезла цензура или нет — это для меня особого значения не имеет. Сейчас труднее работать только потому, что много непонятного, неустоявшегося. А еще — в обществе потеряны нравственные ориентиры. Журнал «Дружба народов» организовал как-то в Москве в ЦДЛ встречу с авторским активом. В своем выступлении я, в частности, вот что сказал: Сталина можно долго ругать, но мы в те годы друг друга в школе по национальности не различали. Меня сразу же окрестили «сталинистом» и на следующую встречу, которая должна была состояться на одном из московских предприятий, не пригласили. Но при чем здесь «сталинизм»? Мне хотелось напомнить, что, ревируя все подряд, мы рискуем потерять точный отсчет... Но я несколько отвлекся. В принципе, если бы не необходимость служить, чтобы заработать на хлеб насущный для семьи, я от письменного стола не отрывался бы.

— Сегодня многие ваши коллеги «замолчали», потому что негде печататься. А писать «в стол» не все могут.

— А стоит ли смотреть на литературу как на средство заработать кусок хлеба? Я сейчас в таком возрасте и в таком состоянии, что мне совершенно безразлично, какую из моих книг будут читать сегодня, а какую — через десять лет. Или вообще не прочтут. Я пишу для себя.

— Перед нашим разговором с удовольствием перечитала вашу раннюю трилогию «Люди и деревья». Смогли бы вы написать такую трилогию сегодня?

— Трудно сказать. В литературу я принес весь мой родной Айлис с его особой, неповторимой гармонией. Потом, живя в городе, я эту гармонию порастратил. И все же время от времени она напоминает о себе с такой силой, что я просто шалею: откуда он, этот свет? Рос в деревне в трудное военное время, среди голода и нищеты, а воспоминания светлы...

— В ваших поздних вещах не погас этот свет?

— Думаю, нет. Правда, поэт Рамиз Ровшан как-то назвал моих героев «космонавтами», в том смысле, что они обречены всю жизнь метаться между городом и деревней, и там, и здесь ощущая свою чужеродность. В последних книгах преодолеть пессимизм не удается. Когда я приехал из Айлиса, будущее выглядело более радужным. Свои первые вещи я писал так, будто после их завершения мне суждено сгинуть и от меня останется только то, что я успею выплеснуть на бумагу. Каждую повесть писал как последнюю, выкладываясь без остатка. Потом мне давали какие-то звания, премии, даже ордена, выделили квартиру. И, к стыду своему, я ощутил большую зависимость от общества. И это тоже влияло на атмосферу письма. Есть два типа литераторов: одни лишут о себе, другие могут писать о чем угодно. Я пишу о себе. Литература — это боль. Если я этого не ощущаю, то не смогу написать ничего путного. Быть может, это прозвучит странно, но я писателем профессионалом, в западном смысле, себя не считаю. У меня все идет от чувства, от настроения. Например, повесть «Над Курой в теплых лесах» написана на одном дыхании. Готовилась инсценировка моих «Сказок тетушки Мединны». Режиссер как-то говорит: это что, я похлебе историю знаю, в нашей деревне произошла. Постыблый муж вернулся с войны. Жена, не желая вновь пережить унижения, взяла кубшин, чтобы пойти по воду, и... пропала. Меня как молния пронзила. Я буквально убежал из театра и, забыв про пьесу, сел писать. Так в течение недели появилась повесть «Над Курой в теплых лесах» — история женщины, для которой возвращение нелюбимого мужа смерти подобно. Сразу в мельчайших деталях я увидел и эту женщину, и дом, в котором она жила, ее деревню...

— У азербайджанской прозы 60—70-х годов есть, на мой взгляд, общая «родовая» черта: у Эльчины много сказочного, у Анара — сплошные чудеса, вы тоже любитель фантазировать. Лева Аминский одну из статей про вас так и озаглавил: «Анарам из Айлиса в стране чудес». Удастся ли вам сохранить это ощущение чудесного, сказочного теперь? Или вы из «страны Айлиса» ушли и ушли безвозвратно?

— Еще писали, что я из лирика



Фото Александра КАРЗАНОВА

переквалифицировался в сатирика. Да все это не так. Вспомним Шукшина. Считаю, что он не меньше сделал для русской литературы, чем, скажем, Солженицын. Так вот, кто такой ранний Шукшин? Деревенский папишка, безоглядно влюбленный в природу, в окружающий мир, детей, женщин. А приехал в город — какая перемена! Появились сатирические нотки, если вспомнить «Крепкого мужика», и даже сарказм — как в рассказе «Вольки».

Было, увы, время, когда я возмнил себя идеологом, решил, что мне тоже следует во что-то вмешиваться, поднимать «актуальные вопросы», пытаться изменить порядок вещей. Все это я делал искренне, от души. И все же моя стихия там, где сказка. Последние вещи — «Плотина», «Белое ушелье», — они ведь тоже с «чудинкой»...

— Тем не менее что-то, наверное, ушло?

— Слишком уж откровенная, детская радость бытия. Поэтому и тон стал спокойнее, приглушеннее. Сохранилось главное — Вера...

— Анарам Наджафович, ваши герои рано и поздно покидают деревню. Им тяжело, неуютно. Но они уезжали по своей воле, по добровольному выбору. А что происходит сейчас?

— Еще в конце 60-х «Дружба народов» собрала вместе писателей «деревенщиков». Помнится, я тогда сказал: дайте азербайджанцу, айлису, крестьянину землю — и он сотворит на ней рай земной. Не так давно я построил на родине дом. Он стоял сначала один посреди голой степи. Чуть позже там поселились другие — в степи, кишащей ядовитыми змеями. Сейчас садов уже не слышно!

— Кстати, история строительства дома — целая эпопея. Жена моя родом из Белоруссии, и я детей часто на лето отправлял в Минск. А сам этот месяц посвящал исключительно литературе. Однажды отправил семью, как всегда, засел за письменный стол и с ужасом понял: повторяюсь. Появилось ощущение, что исписался. И тут меня вдурот со страшной силой потянуло к Айлису: быть может, там что-то переключится? Захотелось построить собственный дом. Представил себе будку в степи, ночь, безлюдье, а я сижу в этой будке и работаю.

— Ну почему же в будке?

— В будке или в вагончике, лишь

бы я смог там пристроиться до завершения строительства. Словом, чисто детская мечта... К сожалению, стать полностью «своим» в Айлисе я уже никогда не смогу. Мечта опять столкнулась с реальностью. У меня там два брата, мать, целая куча сородичей. Ключок земли, урожай, который они собирают с этого клочка и которым могут прокормить детей, для них намного дороже, чем все мои повести и рассказы. Говорю это не в осуждение — мол, вот какие они приземленные. Они труженики, им нелегко живется. Мы слишком разные... Тем не менее не теряю надежды, что подниму сыновей и уеду в Айлис навсегда...

— Сегодня многие крестьяне изгнанные из родных очагов войной, межнациональными конфликтами, могут увидеть свой дом разве только во сне. Навью — папеллица. Смогли бы вы написать об этом?

— Я много писал о драме земледельца, которого силой загоняют в колхоз, отбирая землю, скотину. Но одно дело, когда землю отбирала власть, другое — война. Об этом и писать надо иным языком. Для осмысления такой глобальной беды нужны время, дистанция. О ней напишет не отец, а тот-малютка, которого он держал на руках, когда они бежали из объятий пламенем деревни.

Со всеми нами, живущими на 1/6 части земного шара, произошла неслыханная катастрофа. Осознаем ли мы ее до конца? Ну, западных политиков я еще могу понять: они разрушили могучую военную державу, и говорят даже в интересах всего человечества... Но доморощенные-то «вожди» почему забыли про свой несчастный народ? Обесценена человеческая жизнь! Не верю я в демократию, ради которой уложили столько людей. Мертвые не молчат, как кому-то кажется. Еще придет их час, и мы узнаем, о чем эти люди думали, когда погромщики ломались в их дом... Правда за ними, а не за Горсачевым, который продолжает совершать заморские вожди и сыпать рецептами нашего спасения. Не забыть, не простить...

— А ведь одно время вы были, кажется, привержены его идеям...

— Поверил: он знает больше, чем я, и видит дальше. А потом убедился: он не знает и того, что знаю я...

— Как-то вы заметили, что по натуре немногие революционеры, хотя от политики всегда старались держаться подальше. Почему?

— Революция — это порыв души, всплеск эмоций, а политика — дело изматывающее. Вполне допускаю, что писатель может поддаться порыву, выйти на улицу, на митинг, чтобы выкрикнуть: «Долой систему!». Но последователю заниматься сломом этой системы — не дело литератора. Есть, конечно, пример величайшего «политического» писателя — Солженицын.

— А как вы относитесь к политическим выступлениям своих коллег-«деревенщиков» — Белова, Распутина?

— Я постерегся бы высказывать безапелляционные суждения, навешивать ярлыки. И Белов, и Распутин считают, что Россия находится на грани катастрофы. Они имеют выстраданное право на свое мнение. Недавно один мой знакомый получил письмо из российской глубинки, есть там такие строки: «Семья еще как-то жива, а Родина погибает». Буду откровенен: я Белову и Распутину гораздо больше доверяю, чем перелицованным из партократов демократам. За этими большими русскими писателями стоит Дело в образе их прекрасных книг. А что стоит за такими, как Коротич? Вот поразительный пример приспособленца! Я его знал задолго до перестроечного «Огонька»... Те же Белов, Распутин, Шукшин всегда звали к союзу людской, в набат били о том, что мы утонули во дни. Где были тогда Коротич и К? Молчали, занятые карьерой? Уста же разверзли только тогда, когда это стало безопасно... Разобраться бы во всем этом спокойно, не спешить, отделить зерна от плевел. Знаю, мои слова многим придутся не по душе, но лукавить не могу. Это не значит, что я с Беловым, например, во всем согласен... Кстати, не считаю, что Распутин занялся политикой. Он, как и герой его произведения «Пожар», испытывает жесточайшие нравственные терзания, мечется в отчаянии, не зная, как спасти душу свою, своих соотечественников. Между прочим, то, что сегодня зачастую говорят и пишут о Белове, — это как раз и есть целенаправленная «политика», последовательная, хитроумная. А иначе зачем нужно шельмовать талантливых русских писателей? Многие из наиболее рьяных демократов, «разваливших» бывший Союз, сейчас устроились за границы, преподают в американских и европейских университетах. Можно ли представить в этой роли Белова или Распутина?

— Наверное, нет. Белов недавно на свои средства черновь возродил в родной Тимонице.

— То-то и оно. Он остается с народом... Мне кажется, сегодня совершается небезобидная подмена критериев и подходов к русской литературе. Как будто не было Шукшина или такого блистательного прозаика, как Юрий Казаков. Зато в гении скоропелого записаны те, кого рядом с ними и близко не поставишь. Я азербайджанец, и мое отечество — здесь. Но Родина моя еще и литература. И если на этой, духовной, родине учиняются погромы, устраняется обструкция лучшим, разве можно отсиживаться в сторонке?

— В литературных кругах сложилось впечатление об Айлисли как о человеке неудачном, эристом, непредсказуемом. Действительно, несколько раз вы сами, по доброй воле, уходили с руководящих должностей. Помню, оставили пост главного редактора журнала «Азербайджан» в пору, когда тот переживал пик читательской популярности. Резко явступили на последнем съезде азербайджанских писателей и сняли с себя обязанности секретаря. Что руководило взаимными поступками в таких случаях?

— Я проработал в журнале пять лет и, кажется, создал сильный коллектив. А ушел потому, что, во-первых, мне было трудно работать с Мирзой Ибрагимовым, который вновь занял кресло председателя Союза писателей. В вопросах литературных мы с ним стояли на диаметрально противоположных позициях. Во-вторых, устал сражаться с ветряными мельницами и ощутил бесполезность своей борьбы: выгоняло одного графомана и торгаша-автора — появляется другой, более пронырливый. Тогда с этим злом бороться было почти невозможно. Есть и еще одна причина, возможно, самая главная. Я пришел к выводу: то, что я могу сделать в литературе сам, мне дороже того, что я делаю в журнале.

— И все же сейчас опять служите, согласились стать директором крупного издательства «Языки».

— Странно прозвучит, но... устал от одиночества. Ведь последние годы я был совершенно отрешен от общества. Кроме того, уже не мог спокойно сидеть и писать, потому что нечем было кормить семью. Увы, бывает и так.

— Насколько я знаю, на вас уже ополчилась добрая половина членов СП, чьи книги вы выкинули из тематического плана. Сокращаете штат, увольняете старых работников. Трудно это?

— Ради интересов дела приходится жертвовать отношениями и привычками. Не получится угодить всем. У меня же еще сохранилась надежда, что смогу что-то сделать. Моим непосредственным начальником, председателем Госкомпечати, является друг и единомышленник Сабир Рустамханлы. Он несколько не скрывает моей свободы. Кроме того, сегодня невозможны идеологические нажимы, вроде тех, которые немало попортили крови прежде. Вообще, если бы не межнациональные столкновения, принесшие столько горя, жить было бы чертовски интересно. Мы же ждали прихода этого времени. И оно пришло, но пришло вместе с насилием, которое сегодня правит бал. Все остальное — объективные, вполне преодолимые трудности переходного периода. Но в этой всеобщей озлобленности, в бессмысленной бойне ради чьих-то «кровных» национальных интересов я перспектив не вижу.

— Не так давно «ЛГ» опубликовала беседу с Грантом Матовосян. Знаю, что в прошлом вас связывали добрые отношения, да и недавно вы имели редкую возможность пообщаться на встрече азербайджанской и армянской интеллигенции, которая произошла на границе двух республик. Скажите честно — почему вы решили поехать на эту встречу в разгар полыхающего пожара? На что надеялись?

— Когда мне сказали, что приедет Грант Матовосян, который очень достойно вел себя все эти годы, ни разу не позволив унижительных замечаний или высказываний в адрес азербайджанского народа, я поехал на встречу с большой надеждой. И не обманулся. Там были люди, в основном друг друга понимающие и, что очень важно, не участвовавшие в националистических словесных баталиях. Наверное, это была встреча идеалистов — мы же ничего конкретного не решили. Но важно было сделать первый, малосенный шаг, за которым, хочется надеяться, будут и другие. Мы рассказали об этой встрече по республиканскому телевидению. Вел передачу я и, честно говоря, опасался, что после этого меня на улице будут оплевывать. Однако реакция оказалась совершенно неожиданной. Приходили, звонили незнакомые люди и с надеждой спрашивали: может, дело идет к концу, раз вы встречаетесь, может, война скоро прекратится?.. Вся беда в том, что с обеих сторон не нашлось личностей, которые бы вовремя указали на опасное развитие событий и пресекали их в зародыше. Когда несколько лет назад я услышал о выступлении академика Аганбегяна в Париже, где он впервые поднял вопрос о Нагорном Карабахе, я моментально представил себе все, что может произойти в ближайшее время. Так и случилось... С тех пор мне не дает покоя вопрос: если эта бедная открылась мне — простому, далекому от политики человеку, то почему искусственные этого не увидели?

— Волю вам других обижать. А где была наша интеллигенция? Они молчали, а другие еще и подливали масла в огонь...

— Для меня карабахский кризис — свидетельство несостоятельности бывшей советской интеллигенции. Страшно, когда неудачливый литератор с неудовлетворенным тщеславием и непомерными амбициями выдвигается на авансцену и получает возможность проявить себя «политиком».

— Но все же есть ли выход из тупика? Что делать народам с этой болью, с этой страшной памятью?

— Сначала надо все вещи назвать своими именами. Поименно назвать тех, кто способствовал разжиганию кровавого пожара. Кроме того, надо продолжать налаживать связи. Хотя, повторяю, я мало верю в успех такой затеи. Слово и за честными, здравомыслящими политиками. Необходимо любой ценой остановить кровопролитие. Все остальное — потом. А писатель? Думаю, когда вокруг происходит что-то сверхбезнравственное, на что он пока не в силах повлиять, настоящий писатель уединяется, пытается сохранить самого себя в Слове. Хотелось бы, чтобы по прошествии времени, когда наши народы будут строить новые, гуманные отношения, мои книги помогли этому.

— У вас есть ощущение, что жизнь прожита не напрасно?

— Если бы меня спросили об этом 13 или 20 января 1990 года, когда улицы Баку были залиты кровью невинных, я ответил бы: нет. Я сказал бы: порвите и сожгите все мои книги — они никого не спасли и никого не остановили. Тогда все назалось бессмысленным. А сейчас опять появилась вера в человека...

Беседу вел  
Эльмира АХУНДОВА